

СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ

Этот закон универсален и относится не только к жизни замечательных людей, но к любой человеческой жизни, особенно если рассматривать её пристально, в упор. Любая жизнь набита кошмарами. У каждой семьи, как говорит английская пословица, в шкафу спрятан свой скелет. "Каждый сам себе отвори свой ад, словно дверцу шкафчика в душевой". (С. Гандлевский). Одни запирают накрепко эту дверцу, стараются не заглядывать лишний раз в старые пыльные шкафы и живут относительно спокойно. Другие постоянно помнят о своих скелетах и носят свой грех, свой ад с собой. Они срослись с ними, как горб с верблюдом, как панцирь с черепахой.

Раб испытывает чувство обиды, и только свободный человек — чувство вины. "Всех виновнее я и греховней", — пишет Инна Лиснянская. Но это значит лишь то, что она совестливее многих других, кто никогда в своей вине — даже перед собой — не признается, для кого муки совести, раскаяние всегда было чуждым, инопланетным занятием.

И, наверное, когда покину я
навсегда земную колею,
тьмя моя не раз придёт с повинною,
если даже окажусь в раю.

Чувство вины в каком-то глобальном масштабе переполняет её душу и поэзию:

Как в хризантемовом саду
без хризантем,
не будет Страшному Суду
со мной проблем.

Душа сама себя сожгла
в тот час, когда
от своего устала зла
и от стыда.

Марина Цветаева когда-то бросила в мир слова о самосуде, о суде поэта над собой как единственно возможном суде над поэтом. Она называла себя кальвинисткой, то есть человеком, который, не дожидаясь Божьей кары или милости — сам сводит жёсткие счёты с собой. И сейчас я хочу показать вам несколько таких невидимых миру трагедий, спрятанных скелетов в шкафах, которые, подобно лисёнку за пазухой из древнеспартанского предания, разъедали поэтам внутренности, но из этой адской боли рождались бессмертные творения духа. Девять рассказов — как девять кругов ада.

Горя огнём стыда (А. Фет)

Глубокий след в фетовской поэзии оставил трагический роман с Марией Лазич. Это была дочь отставного генерала, мелкого помещика, обрусевшего серба. Фету было 28, когда он её встретил, ей — 24. В марте 1849 года Фет пишет другу детства, что встретил существо, которое любит и глубоко уважает, "идеал возможного для меня счастья и примирения с гадкой действительностью. Но у ней ничего и у меня ничего..."

Любовь бесприданницы и офицера без состояния могла только усугубить положение двух бедняков. Это значило бы для него навсегда похоронить будущее в убогом гарнизонном прозябании с кучей детей и преждевременно увядшей женой. И любовь Фета отступила перед

прозаическим расчётом. Позже он напишет автобиографическую поэму "Сон поручика Лосева", в котором их роман с Лазич изображён с реалистической конкретностью. Поначалу комически поданный вопрос "брать или не брать дьявольские червонцы?" — оборачивается важнейшим вопросом в выборе дальнейшего жизненного пути. Как поступил поручик Лосев — в поэме остаётся неизвестным. Но мы знаем, как поступил поручик Фет.

В своих воспоминаниях он пишет: "Чтобы разом сжечь корабли наших взаимных надежд, я собрался с духом и высказал громко свои мысли относительно того, насколько считал брак для себя невозможным и эгоистичным". Она ответила: "Я люблю с Вами беседовать без всяких посягательств на Вашу свободу". Мария всё понимала и не осуждала Фета. Она любила его таким, каким он был, любила бескорыстно, безоглядно и самоотверженно. Любовь была для неё всем, в то время как он расчётливо и упорно шёл к своей цели: получение дворянства, достижение материального благополучия...

Чтобы не компрометировать девушку, Фет должен был с ней расстаться. "Я не женюсь на Лазич", — пишет он другу, — и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений. Она передо мной чище снега..." "Этот несчастный гордиев узел любви или как хочешь назови, который чем более распутываю, тем туже затягиваю, а разрубить мечом не имею духу и сил". Разрубила жизнь.



А. Фет. 40-е годы.

Вскоре полк переводят в другое место и в мае Фет отбывает на манёвры, а осенью, под уже созревшими плодами, полковой адъютант Фет на свой вопрос о Марии услышал изумлённое: "Как! Вы ничего не знаете?!" Собеседник, пишет поэт, смотрел на него диким взглядом. И, после паузы, видя его коснеющее недоумение, прибавил: "Да ведь её нет! Она умерла! И, Боже мой, как ужасно!" Ужасней смерть и впрямь вообразить себе трудно: молодая женщина сгорела. Заживо...

Было это так. Отец, старый генерал, не разрешал дочерям курить, и Мария делала это украдкой, оставаясь одна. "Так, в последний раз легла она в белом кисейном платье и, закулив папироску, бросила, сосредоточившись на книге, на пол спичку, которую считала потухшей. Но

спичка, продолжавшая гореть, зажгла опустившееся на пол платье, и девушка только тогда заметила, что горит, когда вся правая сторона была в огне. Растерявшись, она бросилась по комнатам к балконной двери, причём горящие куски платья, отрываясь, падали на паркет. Думая найти облегчение на чистом воздухе, Мария выбежала на балкон, но струя ветра ещё больше раздула пламя, которое поднялось выше головы..."

Фет слушал, не прерывая, без кровинки в лице. Спустя 40 лет он слово в слово воспроизведёт этот страшный рассказ, завершив им, по сути, свои воспоминания.

Но существует и другая версия случившегося. Вскоре после рокового объяснения с Фетом Мария, надев белое платье — его любимое, — зажгла в комнате сотню свечей. Помещение пылало светом, как пасхальный храм. Перекрестившись, девушка уронила горящую спичку на платье. Она готова была стать любовницей, сожительницей, посудомойкой — кем угодно! — только бы не расставаться с Фетом. Но он решительно заявил, что никогда не женится на бесприданнице. Как признавался поэт, он "не взял в расчёт женской природы". "Предполагают, что это было самоубийство", — писал уже в 20 веке Е.Винокуров.

Было ли это самоубийством? Если да, то она убила себя так, чтобы не затруднить жизни любимому, ничем не отяготить его совесть, — чтобы зажжённая спичка могла показаться случайной. Сгорая, Мария кричала: "Во имя неба, берегите письма!" и умерла со словами: "Он не виноват, виновата я". Письма, которые она умоляла сохранить — это фетовские письма, самое дорогое, что у неё было... Письма не сохранились. Сохранились стихи Фета, которые лучше всяких писем увековечили их любовь.

Томительно призывно и напрасно
твой чистый луч передо мной горел,
немой восторг будил он самовластно,
но сумрака кругом не одолел.

Пускай кланут, волнуясь и споря,
пусть говорят: то бред души больной,
но я иду по шаткой пене моря
отважною, нетонущей ногой.

Я пронесу твой свет чрез жизнь земную,
он мой — и с ним двойное бытие
вручила ты, и я — я торжествую
хотя на миг бессмертие твоё.



В. Борисов-Мусатов. "Весна"

Что он потерял — Фет понял гораздо позже, тогда он лишь отдал дань скорби, — ему светила гвардия, перед ним маячили другие заботы, цели... Но придёт время — и горестная тень властно возьмёт всё, в чём было отказано живой Марии Лазич.

Долго снились мне вопли страданий твоих, —
то был голос обиды, бессилия плач;
долго, долго мне снился тот радостный миг,
как тебя умолил я — несчастный палач.

Проходили года, мы умели любить,
расцветала улыбка, грустила печаль;
проносились года, — и пришлось уходить:
уносило меня в неизвестную даль.

Подала ты мне руку, спросила: "Идёшь?"
Чуть в глазах я заметил две капельки слёз;
эти искры в глазах и холодную дрожь
я в бессонные ночи навек перенёс.

Сорок лет спустя после этих событий больной, задыхающийся старик бессонной ночью думает о том, чего стоило 20-летней девушке то спокойное прощание: "Подала ты мне руку. Спросила: "Идёшь?" Среди ночи поднимают его утаённые ею тогда слёзы — вопли рыданий стоят у него в ушах. Вновь и вновь вспыхивает видение: бежит пылающая фигура, загорается факелом и выплавляет строчки, которым предстоит войти в учебники:

Ужель ничто тебе в то время не шепнуло:
там человек сгорел?

И эти, Толстого поразившие: "Прочь, этот сон, — в нём слишком много слёз..." И дальше, гениальное: "Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть! а жаль того огня..." И вот эти, "ракетой" долетающие до нас:

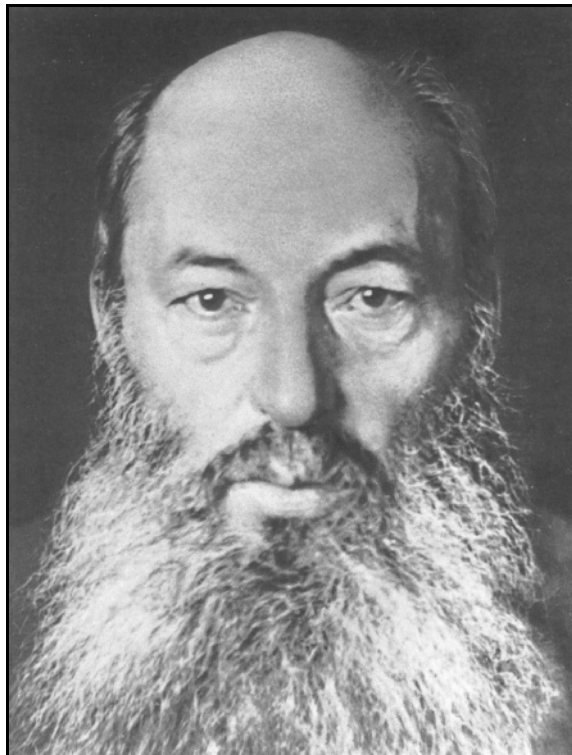
Лечу на смерть вослед мечте.
Знать, мой удел лелеять грёзы
и там, со вздохом, в высоте
рассыпать огненные слёзы.

Так догорала любовь, которая когда-то, в херсонской глуши, обожгла жизнь практичного армейского офицера.

Ты отстрадала, я ещё страдаю.
Сомнением мне суждено дышать.
И трепещу, и сердцем избегаю
искать того, чего нельзя понять.

А был рассвет! Я помню, вспоминаю
язык любви, цветов, ночных лучей, —
как не цвести всевидящему маю
при отблеске родном таких очей!

Очей тех нет — и мне не страшны гробы,
завидно мне безмолвие твоё.
И, не судя ни тупости, ни злобы,
скорей, скорей, в твоё небытие!



А. Фет

Марии Лазич посвящены самые пронзительные строки знаменитых "Вечерних огней", этой лебединой песни А.Фета.

И снится мне, что ты встала из гроба,
такой же, какой ты с земли отлетела.
И снится, снится: мы молоды оба,
и ты взглянула, как прежде глядела.

Что же касается бесследно исчезнувших писем, то Фет, как мы знаем, умел возвращать отнятое судьбой: он вернул себе имя, состояние, вернул и утраченные письма. Ибо что, как не письма девушке из херсонских степей, эти написанные на склоне лет стихотворные послания?

Солнца луч промеж лип был и жгуч, и высок,
пред скамьей ты чертила блестящий песок,
я мечтам золотым отдавался вполне, —
ничего ты на всё не ответила мне.

Я давно угадал, что мы сердцем родня,
что ты счастье своё отдала за меня,
я рвался, я твердил о не нашей вине, —
ничего ты на всё не ответила мне.

Я молил, повторял, что нельзя нам любить,
что минувшие дни мы должны позабыть,
что в грядущем цветут все права красоты, —
мне и тут ничего не ответила ты.

С опочившей я глаз был не в силах отвести, —
всю погасшую тайну хотел я прочесть.
И лица твоего мне простили ль черты? —
Ничего, ничего не ответила ты!

Сила чувств такова, что поэт не верит в смерть, не верит в разлуку, он по-дантовски беседует со своей Беатриче, как с живой.

Прости! во мгле воспоминанья
всё вечер помню я один, —
тебя одну среди молчанья
и твой пылающий камин.

Глядя в огонь, я забывался,
волшебный круг меня томил,
и чем-то горьким отзывался
избыток счастья и сил.

Что за раздумие у цели?
Куда безумство завлекло?
В какие дебри и метели
я уносил твоё тепло?

Где ты? Ужель, ошеломлённый,
кругом не видя ничего,

застывший, вьюгой убелённый,
стучусь у сердца твоего?..

С его пера срывались слова любви, раскаяния, тоски, часто поразительные по своей бесстрашной откровенности.

Давно забытые, под лёгким слоем пыли,
черты заветные, вы вновь передо мной,
и в час душевных мук мгновенно воскресили
всё, что давно-давно утрачено душой.

Горя огнём стыда, опять встречаются взоры
одну доверчивость, надежду и любовь,
и задушевных слов поблёкшие узоры
от сердца моего к ланитам гонят кровь.

Я вами осуждён, свидетели немые
весны души моей и сумрачной зимы.
Вы те же светлые, святые, молодые,
как в тот ужасный час, когда прощались мы.



В. Борисов-Мусатов. "Призраки".

Всю жизнь, до конца дней своих Фет не мог её забыть. Образ Марии Лазич в ореоле доверчивой любви и трагической участи до самой смерти вдохновлял его. Жизненная драма изнутри, как подземный ключ, питала его лирику, придавала его стихам тот напор, остроту и драматизм, которых прежде не было. Его стихи — это монологи к умершей, страстные,

рыдающие, исполненные раскаяния и душевного смятения.

Страницы милые опять персты раскрыли,
я снова умилён и трепетать готов,
чтоб ветер или рука чужая не сронили
засохших, одному мне ведомых цветов.

О, как ничтожно всё! От жертвы жизни целой,
от этих пылких жертв и подвигов святых —
лишь тайная тоска в душе осиротелой
да тени бледные у лепестков сухих.

Но ими дорожит моё воспоминанье;
без них всё прошлое — один жестокий бред,
без них — один укор, без них — одно терзанье,
и нет прощенья, и примиренья нет!

Страшен мне уют

(А.Блок)

Любовь Блока с его Прекрасной Дамой в реальной жизни, как известно, не состоялась: её загубили метафизика, мистическая схоластика, ложные философские теории, декадентство. В жертву им была принесена живая жизнь. Как тут не вспомнить ядовитое замечание Гёте по поводу мистического чувства любви у романтиков: нереальное отношение к женщине, вырождаясь в туманные эротические двусмысленности, приводит в итоге в публичный дом. Из дневника Блока: "Ночь. Лихач. Варьете. Акробатка выходит. Я умоляю её ехать. Летим, ночь зияет. Я совершенно вне себя. Я рву её кружева и батист, в этих грубых руках и острых каблуках — какая-то сила и тайна..."



А. Блок

Прошло три года. Любовь Менделеева записывает в дневнике: "Той весной я была

брошена на произвол всякого, кто бы стал за мной ухаживать". Этим человеком стал А.Белый — бывший друг, единомышленник и поклонник Блока. Белый даёт ей понять, что любит её не как Прекрасную Даму, а как живую женщину: ежедневно посылал корзины цветов, забрасывал страстными письмами, звал уехать за границу, умолял "спасти его, спасти Россию". Каждый вечер он приходил, садился к роялю и пел ей романсы. Блок скрывался в другой комнате или уходил из дома — устранился. Менделеева плакала и писала в дневник: "Очень тяжело. Один — не муж. Белый — искушение".



Любовь Менделеева

Позже, обзревая прожитое, Любовь Менделеева в своём дневнике охарактеризует годы 1909 —1911, проведённые с Блоком, двумя словами: "Без жизни". А следующее 4-летие обозначено у неё знаменательной пометой: "В рабстве у страсти". Хотел того Блок или нет, но он сам толкнул свою Офелию на путь декадентской вседозволенности, и она, очертя голову, кинулась в омут. С какой-то третьестепенной труппой актёров Люба уезжает на длительные гастроли. Сцена не стала её призванием, скорее, средством ухода от опостылевшего очага, в котором не было тепла. Она затевает флирт — с одним, с другим, третьим.

Ломка нормальных семейных отношений, которая в их кругу пышно именовалась "революцией быта", больно ударила по ним обоим. Жизнь переучивала, опровергала декадентскую ложь, заставляла учиться на своих ошибках. Всё богочеловеческое и сверхчеловеческое ушло, осталось просто человеческое.

Не знаю, где приют своей гордыне
ты, милая, ты, нежная, нашла.
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
в котором ты в сырую ночь ушла.



"Ну что же, — признаётся Блок себе в дневнике, — надо записать чёрным по-белому историю, таимую внутри. Ответ на мои никогда непрекращающиеся преступления были: сначала Белый, которого я ненавижу, потом Чулков, какая-то уж совсем мелочь (Ауслендер), от которого меня теперь тошнит. Потом — "хулиган из Тьмутаракани" — актёришка. Теперь не знаю кто".

Зимний ветер играет терновником,
задувает в окна свечу.
Ты ушла на свиданье с любовником.
Я один. Я прощу. Я молчу.

Ты не знаешь, кому ты молишься, —
он играет и шутит с тобой.
О терновник холодный уколешься,
возвращаясь ночью домой.

Но, давно прислушавшись к счастью,
у окна я тебя подожду.
Ты ему отдаёшься со страстию.
Всё равно. Я тайну блюду.

Всё, что в сердце твоём туманится,
станет ясно в моей тишине.
И когда он с тобой расстанется,
ты признаешься только мне.

В 1908 году жена Блока влюбляется в актёра труппы Мейерхольда Константина Давидовского. С гастролей она возвращается беременной. Блок ни о чём не спрашивал, был предупредителен, ласков. Он готовился стать отцом. Ему казалось, что вот теперь, после рождения ребёнка, жизнь может пойти по-другому. Родился мальчик. Его назвали Митей, в честь Менделеева. Через неделю ребёнок умер.

В голубой далёкой спальне
твой ребёнок опочил.

Тихо вылез карлик маленький
и часы остановил.

Блок сам похоронил младенца и потом каждый год навещал могилу.

Когда под заступом холодным
скрипел песок и яркий снег,
во мне, печальном и свободном,
ещё смирялся человек.

Пусть эта смерть была понятна —
в душе, под песни панихид,
уж проступали злые пятна
незабываемых обид.

Я подавлю глухую злобу,
тоску забвению предаю.
Святому маленькому гробу
молиться буду по ночам.

Атмосфера в доме была очень тяжёлой. Мать Блока не нашла общего языка с невесткой, в семье были постоянные конфликты, из-за которых Блок очень страдал. Мать была подвержена душевному недугу, часто лежала в психиатрической клинике. По мнению Любы, она дурно влияла на сына, с которым у неё была большая духовная близость. Блок разрывается между самыми дорогими существами, испытывает страшные душевные муки и не видит выхода из создавшегося положения. "Только смерть одного из нас троих сможет помочь", — жестоко говорит он матери. Она по-своему истолкует стихи Блока, где говорилось о "пристальном враге", примет их на свой счёт и попытается отравиться. Блока мучает невыносимая тоска, сознание своей вины перед матерью, одиночество, вечное ожидание жены, уехавшей в Житомир к любовнику...

В отчаянии он пишет ей письмо: "Мне очень надо твоего участия. Стихи в тетради давно не переписывались твоей рукой. Давно я не прочёл тебе ничего. Лампадки не зажигаются. Холодно как-то. То, что я пишу, я могу написать и сказать только тебе. Многого я не говорю даже маме. А если ты не поймёшь — то и Бог с ним, пойду дальше так".

Я — Гамлет. Холодеет кровь,
когда плетёт коварство сети,
и в сердце первая любовь
жива — к единственной на свете.
Тебя, Офелию мою,
увёл далёко жизни холод.
И гибну, принц, в родном краю,
кинжол отравленным заколот.

Гамлетовский вопрос "быть — или не быть" встаёт перед ним всё чаще и неотвратимей. В ту пору Блок был на волоске от самоубийства. Он пишет цикл из семи стихотворений под названием "Заклятие огнём и мраком":

По улицам метель метёт,
свивается, шатается.
Мне кто-то руку подаёт
и кто-то улыбается.

Ведёт и вижу: глубина,
гранитом тёмным сжатая.
Течёт она, поёт она,
зовёт она, проклятая.

Я подхожу и отхожу,
и замер в смутном трепете:
вот только перейду между —
и буду в струнном лепете.

И шепчет он — не отогнать
(и воля уничтожена):
пойми: уменьем умирать
душа облагорожена.

Пойми, пойми, ты одинок,
как сладки тайны холода...
Взгляни, взгляни в холодный ток,
где всё навеки молодо...

Бегу. Пусти, проклятый, прочь,
не мучь ты, не испытывай!
Уйду я в поле, в снег и ночь,
забьюсь под куст ракитовый!

Там воля всех вольнее воль
не приневолит вольного,
и болей всех больнее боль
вернёт с пути окольного.



С "пути окольного" его вернёт Муза. "И в жизни, и в стихах — корень один. Он — в стихах. А жизнь — это просто кое-как", — запишет он в дневнике. И ещё: "Чем хуже жизнь, тем лучше можно творить". Блок не мог повторить вслед за Пушкиным: "На свете счастья нет, но есть покой и воля". Он разуверился не только в счастье, но и в покое: "Покоя нет. Покой нам только снится".

Корней Чуковский вспоминал, как поразила его комната Блока кричащим несходством с её обитателем. В комнате был уют и покой размеренной, благополучной жизни, на столе — педантичный порядок, а сам хозяин казался воплощением бездомности, неюта, катастрофы. И такой же контраст — между его биографией и внутренним миром. Внешне биография поэта выглядела идиллической, мирной, счастливой. Но стоит прочесть любое из блоковских стихотворений, как вся эта идиллия рассыплется вдребезги и благополучие обернётся бедой.

Милый друг, и в этом тихом доме
лихорадка бьёт меня.
Не найти мне места в тихом доме
возле мирного огня!

Голоса поют, взывает вьюга,
страшен мне уют...
Даже за плечом твоим, подруга,
чьи-то очи стерегут!

Невозможно (И. Анненский)

Биография Иннокентия Анненского предельно скудна и незамысловата. Глубокая и сильная жизнь творилась в нём самом. Но и в этой несложной биографии были примечательные события, без знания которых не постигнуть ни его личности, ни творческого пути, ни странной судьбы поэта.

Закончив гимназию в 1875 году, он поступает в Петербургский университет на историко-филологический факультет, где избрал своей основной специальностью классическую филологию. Ещё в гимназии он увлекался древними языками, потом греческой мифологией, римской историей и литературой. Античный мир обладал для него особым очарованием, и он скоро ушёл в него с головой.

Из-за стеснённого материального положения Анненский был вынужден заниматься репетиторством. Он стал домашним учителем двух сыновей-подростков Надежды Хмара-Барцевской, вдовы, которая была старше его на 14 лет. Разница в возрасте не помешала поэту пылко влюбиться. Он женится на ней и усыновляет её детей. Через год у них рождается сын. Однако эта женщина ничем не обогатила музу Анненского, не стала для него источником тех сильных переживаний, что вносили в жизнь других поэтов их подруги. Сергей Маковский рисует в своих воспоминаниях почти сатирический её портрет: "Семейная жизнь Анненского осталась для меня загадкой. Жена его была совсем странной фигурой. Казалась гораздо старше его, набеленная, жуткая, призрачная, в парике, с наклеенными бровями. Раз за чайным столом смотрю — одна бровь поползла вверх, и всё лицо её с горбатым носом и вялым опущенным ртом перекошилось. При чужих она всегда молчала. Анненский никогда не говорил с ней. Какую роль сыграла она в его жизни?.."

О семейной жизни Анненского нам известно очень мало. Сам он не писал ни мемуаров, ни дневников, и лишь в стихах изредка встречаются редкие отголоски этой жизни.

Вот как, например, в этом, одном из ранних его стихотворений:

Нежным баловнем мамыши
то большиться, то шалить...
И рассеянно из чаши
пену пить, а влагу лить...

Сил и дней гордась избытком,
мимоходом, на лету
хмельно-розовым напитком
усыплять свою мечту.

Увидав, что невозможно
ни вернуться, ни забыть...
Пить поспешно, пить тревожно,
рядом с сыном, может быть,

под наплывом лет согнуться,
но, забыв и вкус вина...
По привычке всё тянуться
к чаше, выпитой до дна.



И. Анненский (1870-е)

Он был хорош собой. Большие печальные глаза, немного припухлый рот, выдававший в нём мягкость и природную доброту. Чёрный шёлковый галстук он завязывал по-старомодному широким, двойным бантом. В его манерах — учтивых, галантных, предупредительных, было что-то от старинного века. Филолог-эллинист по специальности, педагог по профессии, для других — директор гимназии, член учёного комитета Министерства просвещения, наедине с собой он был поэтом.

Но в праздности моей рассеяны мгновенья,
когда мучительны душе прикосновенья,
и я дрожу средь вас, дрожу за свой покой,
как спичку на ветру загородив рукой...
Пусть это только миг... В тот миг меня не трогай,
я ощупью иду тогда своей дорогой...

К творчеству он относился трогательно:

Но я люблю стихи — и чувства нет святей.
Так любит только мать и лишь больных детей.

Имена корифеев символизма гремели тогда не только благодаря их стихам, но и в значительной степени за счёт поведения поэтов, их образа жизни, творимой на глазах биографии и легенды. Анненский же, хоть и повторял не раз: "Первая задача поэта — выдумать себя", сам себя выдумать не умел. Он был подлинным, и в стихах, и в жизни. А тогда это было немодным.

Я люблю на бледнеющей шири
в переливах растаявший свет...
Я люблю всё, чему в этом мире
ни созвучья, ни отклика нет.

Ему тоже не было отклика в этом мире. Эстеты восхищались изысканной формой стихов Анненского, не замечая, не слыша их мучительной человеческой драмы. Это всё равно что на крик боли удовлетворённо констатировать, что у человека прекрасные голосовые связки. Этой нравственной глухотой эстетов возмущался В.Ходасевич: "Что кричит поэт — это его частное дело, в это они, как люди благовоспитанные, не вмешиваются. А между тем каждый его стих кричит о нестерпимом и безысходном ужасе жизни". "Ведь если вслушаться в неё — вся жизнь моя не жизнь, а мука". Одно из его стихотворений называется: "Мучительный сонет":

Едва пчелиное гуденье замолчало,
уж ноющий комар приблизился, звеня...
Каких обманов ты, о сердце, не прощало
тревожной пустоте оконченного дня?

Мне нужен талый снег под желтизной огня,
сквозь потное стекло светящего устало,
и чтобы прядь волос так близко от меня,
так близко от меня, развившись, трепетала.

Мне нужно дымных туч с померкшей высоты,
круженье дымных туч, в которых нет былого,
полузакрытых глаз и музыки мечты,
и музыки мечты, ещё не знавшей слова...

О дай мне только миг, но в жизни, не во сне,
чтоб мог я стать огнём или сгореть в огне!



М. Волошин писал об Анненском: "Это был нерадостный поэт". Это действительно так. Мотив одиночества, отчаяния, тоски — один из главных у поэта. Он даже слово Тоска писал с большой буквы. Ажурный склад его души казался несовместимым с жестокими реалиями жизни.

В тоске безысходного круга
влачусь я постылым путём...

В своей статье "Что такое поэзия?" Анненский говорит: "Она — дитя смерти и отчаяния". Навязчивую мысль о смерти отмечал у него и Ходасевич, который назвал его "Иваном Ильичом русской поэзии". Неотвязная мысль о смерти была вызвана отчасти сердечной болезнью, которая постоянно держала поэта в ожидании конца, смерть могла настичь в любой момент. Но всё-таки трагизм его поэзии вряд ли проистекал от биографических причин (в частности, от болезни). Ходасевич слишком упростил пессимизм Анненского, объясняя его поэзию страхом перед смертью. Люди такого духовного склада не боятся физической смерти. Его страх — совсем иного, метафизического порядка.

Сейчас наступит ночь. Так чёрны облака...
Мне жаль последнего вечернего мгновенья:
там всё, что прожито — желанья и тоска,
там всё, что близится — унылость и забвеньё.

Как странно слиты сад и твердь
своим безмолвием суровым,
как ночь напоминает смерть
всем, даже выцветшим покровом.



Анненский боится смерти, но не меньше боится и жизни. И не знает: в жизнь ли ему спрятаться от смерти — или броситься в смерть, спасаясь от жизни. У него почти нет стихов о любви в обычном смысле, какие есть у Блока, Бальмонта, Брюсова. Есть стихи, обращённые к женщинам, большей частью нерадостные, печальные. Женский образ в них всегда зыбкий, бесплотный, не поддающийся портретному описанию. Тем не менее под ним нередко скрывался реальный прототип.

С Екатериной Мухиной Анненский познакомился вскоре после того, как получил назначение на должность директора в Царскосельской гимназии. Муж её, преподаватель истории нового искусства, был сослуживцем поэта. Историю их отношений можно представить в самых общих чертах — по письмам и стихам.

"Но что же скажу я Вам, дорогая, Господи, что я вложу, какую мысль, какой луч в Ваши открывшиеся мне навстречу, в Ваши ждущие глаза?"

Наяву ль и тебя ль безумно
и бездумно
я любил в томных тенях мая?
Припадая
к цветам сирени
лунной ночью, лунной ночью мая,
я твои ль целовал колени,
разжимая их и сжимая,
в тёмных тенях,
в тёмных тенях мая?
Или сам я лишь тень немая?
Иль и ты лишь моё страданье,
дорогая,
оттого, что нам нет свиданья
лунной ночью, лунной ночью мая.



В. Цыганов "Весна не спит"

Это стихотворение "Грёзы" Анненский напишет в вологодском поезде в ночь с 16 на 17 мая 1906 года. А через день, 19 мая, он отправит Мухиной уже из Вологды письмо, которое трудно определить иначе, как любовное, хотя о любви в нём не говорится ни слова: "Дорогая моя, слышите ли Вы из Вашего далека, как мне скучно? Знаете ли Вы, что такое скука? Скука — это сознание, что не можешь уйти из клеточек словесного набора, от звеньев логических цепей, от навязчивых объятий этого "как все". Господи! Если бы хоть миг свободы, безумия... Если у Вас есть под руками цветок, не держите его, бросьте скорее. Он Вам солжёт. Он никогда не жил и не пил солнечных лучей. Дайте мне Вашу руку. Простимся."

Что счастье? Чад безумной речи?
Одна минута на пути,
где с поцелуем жадной встречи
слилось неслышное *прости?*

Или оно в дожде осеннем?
В возврате дня? В смыканьи вежд?
В благах, которых мы не ценим
за неприглядность их одежд?

Ты говоришь... Вот счастья бьётся
к цветку прильнувшее крыло,
но миг — и ввысь оно взовьётся
невозвратно и светло.

А сердцу, может быть, милей
высокомерие сознания,
милее мука, если в ней
есть тонкий яд воспоминанья.

Внутренне одинокий и осознающий трагизм своего одиночества, Анненский напряжённо искал выхода из него. Но не находил в себе сил для жизни. Он с безумной завистью и страхом

смотрел на живую жизнь, проходившую стороной, и с горечью писал:

Любовь ведь светлая — она кристалл, эфир...
Моя ж — безлюбая, дрожит, как лошадь в мыле!
Ей — пир отравленный, мошеннический пир...

Это человек с раздвоенным сознанием, рефлектирующий, неуверенный в себе, мечтающий о счастье, но не решающийся на него, не признающий за собой на него права.

Даже в мае, когда разлиты
белой ночи над волнами тени,
там не чары весенней мечты,
там отравляющая бесплодных хотений.

Это целомудренно-пугливое сердце понимало любовь только как тоску по неосуществившемуся. Грустной нотой сожаления звучат многие стихи поэта, сожаления о неправильно прожитой жизни, в сущности, — непрожитой жизни.

Развившись, волос поредел.
Когда я молод был,
за столько жить мой ум хотел,
что сам я жить забыл.

Любить хотел я, не любя,
страдать — но в стороне.
И сжёг я, молодость, тебя,
в безрадостном огне.

Сердце его было создано любящим и — как это свойственно людям глубоко чувствующим — стыдливо робким в своей нежности. Сам он шутивно называл его "сердцем лани". Небогатая внешними событиями, неяркая размеренная жизнь Анненского скрывала глубоко спрятанные страсти, лишь изредка вырывавшиеся наружу трагичными, полными боли стихами. Сейчас уже не вызывает сомнений, что поэт был страстно и тайно влюблён в жену старшего пасынка Ольгу Хмара-Барщевскую, часто и подолгу гостившую в Царском Селе. Это ей адресованы его строки:

И, лиловея и дробясь,
чтоб уверяло там сиянье,
что где-то есть не наша связь,
а лучезарное слиянье.

Сохранилось её письмо-исповедь, адресованное В.Розанову и написанное через 8 лет после смерти Анненского: "Вы спрашиваете, любила ли я Иннокентия Фёдоровича? Господи! Конечно, любила, люблю... Была ли я его "женой"? Увы, нет! Видите, я искренне говорю "увы", потому что не горжусь этим ни мгновения... Поймите, родной, он этого не хотел, хотя, может быть, настояще любил только одну меня... Но он не мог переступить... Его убивала мысль: "Что же я? прежде отнял мать (у пасынка), а потом возьму жену? Куда же я от своей совести спрячусь?" И вот получилась "не связь, а лучезарное слиянье". Странно ведь в 20 веке? Дико? А вот — такие ли ещё сказки сочиняет жизнь?.. Он связи плотской не допустил... Но мы

повенчали наши души..."



Семья Хмара-Барщевских. Слева — Ольга с мужем.

Документ этот всплыл чудом. Письма Анненского Ольга Хмара-Барщевская сожгла. Но в одном из стихотворений "Кипарисового ларца" под названием "Прерывистые строки" с подзаголовком "Разлука" Анненский прерывистым голосом, выдаваемым ломающимся ритмом, поведал об этой тайной любви, рисуя драму расставания на вокзале с любимой женщиной:

Этого быть не может,
это — подлог..
День так тянулся и дожит,
иль, не дожив, изнемог?
Этого быть не может..
С самых тех пор
в горле какой-то комок..
Вздор..
Этого быть не может.
Это — подлог.
Ну-с, проводил на поезд,
вернулся, и соло, да!
Здесь был её кольчатый пояс,
брошка лежала — звезда,
вечно открытая сумочка
без замка,
и так бесконечно мягка,
в прошивках красная думочка..
Зал..
Я нежное что-то сказал,
стали прощаться,

возле часов у стенки...
Губы не смели разжаться,
склеены...
Оба мы были рассеяны,
оба такие холодные, мы...
Пальцы её в чёрной митенке тоже холодные...
"Ну, прощай до зимы.
Только не той, и не другой,
и не ещё — после другой...
Я ж, дорогой, ведь не свободная..."
— Знаю, что ты — в застенке...
После она
плакала тихо у стенки
и стала бумажно-бледна...
Кончить бы злую игру...
Что ж бы ещё?
Губы хотели любить горячо,
а на ветру
лишь улыбались тоскливо...
Что-то в них было застыло, даже мертво...
Господи, я и не знал, до чего она некрасива...

Теперь очевидно, что волшебные строки Анненского, написанные за 6 дней до смерти, про дальние руки — о ней:

Мои вы, о дальние руки,
ваш сладостно-сильный зажим
я выносил в холоде скуки,
я счастьем обвеян чужим.

Но знаю... дремотно хмелея,
я брошу волшебную нить,
и мне будут сниться, алмея,
слова, чтоб тебя оскорбить.



(Позже под впечатлением этого стихотворения Блок напишет свои строчки, где слышен тот же мотив:

О, эти дальние руки!
В тусклое это житьё
очарованье своё
вносишь ты даже в разлуке.)

А окружающие думали: человек в футляре. Герой из чеховских сумерек. Персонаж без поступков, личность без судьбы, зато с порядочным трудовым стажем. Но с какой силой вырывается порой из его строф голос именно любви, в таких, например, стихах, как "Трилистник соблазна", или "Трилистник лунный", или "Струя резеды в тёмном вагоне":

Так беззвучна, черна и тепла
резедой напоённая мгла...
В голубых фонарях,
меж листов, на ветвях,
без числа
восковые сиянья плывут.
И в саду
как в бреду
хризантемы цветут...

Пока свечи плывут
и левкои живут,
пока дышит во сне резеда —
здесь ни мук, ни греха, ни стыда...

Вот она, эта эротика Анненского, недоговорённая, но так много говорящая:

В марте

Позабудь соловья на душистых цветах,
только утро любви не забудь!
Да ожившей земли в неживших листьях
ярко-чёрную грудь!

Меж лохмотьев рубашки своей снеговой
только раз и желала она —
только раз напоил её март огневой,
да пьянее вина!

Только раз оторвать от разбухшей земли
не могли мы завистливых глаз...
И, дрожа, поскорее из сада ушли...
Только раз... в этот раз...

В цикле стихов о поэтах у меня есть стихотворение об Анненском, в котором я нарисовала его портрет, каким он мне виделся:

Нерадостный поэт. Тишайший, осторожный,
одной мечтой к звезде единственной влеком...
И было для него вовеки невозможно —
что для обычных душ бездумно и легко.

Как он боялся жить, давя в себе природу,
гася в себе всё то, что мучает и жжёт.
"О, если б только миг — безумья и свободы!"
"Но бросьте Ваш цветок. Я знаю, он солжёт".

Безлюбая любовь. Ночные излиянья.
Всё трепетно хранил сандаловый ларец.
О, то была не связь — лучистое слиянье,
сияние теней, венчание сердец...

И поглотила жизнь божественная смута.
А пасынка жена, которую любить
не смел, в письме потом признается кому-то:
"Была ль "женой"? Увы. Не смог переступить".



Невозможность осуществления мечты, надежд поэт возводит в ранг творческой силы, делает своей печальной привилегией. Самоограничение, самообуздание, отречение почти от всего, чем манит белый свет — вот сквозная линия судьбы и творчества И.Анненского. Поэт творит красоту иллюзии. Оттого и прекрасно, что невозможно: Невозможно — тоже с большой буквы, как и Тоска.

Ключевым для своего лиризма Аннеский назвал стихотворение "Невозможно" — это как бы апофеоз этой темы, ведь любовь в его стихах — всегда "недопетое", подавленное чувство. "Невозможно" — элегическое стихотворение, печальное и светлое, посвящается его заглавному слову и сочетает в себе три мотива: мотив любви, смерти и поэзии. Обращаясь к этому слову, поэт говорит:

Не познав, я в себе уж любил
эти в бархат ушедшие звуки:
мне являлись мерцанья могил
и сквозь сумрак белевшие руки.

Но лишь в белом венце хризантем,
перед первой угрозой забвенья,
этих "в", этих "з", этих "эм"
различить я умел дуновенья.

Если слово за словом, что цвет,
упадая, белеет тревожно,
не печальных меж павшими нет,
но люблю я одно — "Невозможно".

Стоит здесь привести слова Ю.Нагибина: "Анненский, как никто, должен был ощущать многозначное слово "невозможно", ибо для него существующее было полно запретов. Но это же слово служит и для обозначения высших степеней восторга, любви и боли, всех напряжений души. И что-то ещё в этом слове остаётся тайной поэта, и проникнуть в неё невозможно".

Потёмки моей души
(Федерико Гарсиа Лорка)

Из письма Гарсиа Лорки другу: "Впервые в жизни пишу любовную лирику. Новые горизонты открылись мне, и что-то во мне переменялось. Сам себя не узнаю". Последней книгой Лорки стала книга сонетов, которая долго считалась утраченной. "Её составят 100 сонетов", — говорил поэт в интервью. До нас дошли лишь 11, да и те уцелели чудом. Эти газеллы и касыды пронизаны несвойственной прежде поэту тоской, почти отчаяньем. Об этом говорят даже сами названия: "Об отчаявшейся любви", "О скрытой любви", "О пугающей близости".

Только не слепи ты чистой наготою,
как игла агавы в лозах над водою.
Дай тоской забыться на планете дальней,
но не помнить кожи холодок миндальный.

Такие стихи — редки для Лорки. Поэзии его вообще чужд исповедальный тон. Его лирическое "я" — это безымянное и всеобщее "я" народной песни. У этого удивительного лирика почти не было стихов о любви. Признания были передоверены десяткам лирических и драматических героев. Сам же поэт, подобно режиссёру, не появлялся на сцене. Это было сознательное, ещё в молодости принятое решение. В одном из ранних писем Лорка жалуется: "Я страдаю, когда вижу в стихе своё отражение. Кажусь себе огромным сизым комаром над омутом чувства". И только в "Сонетах тёмной любви" он сказал больше, чем хотел.

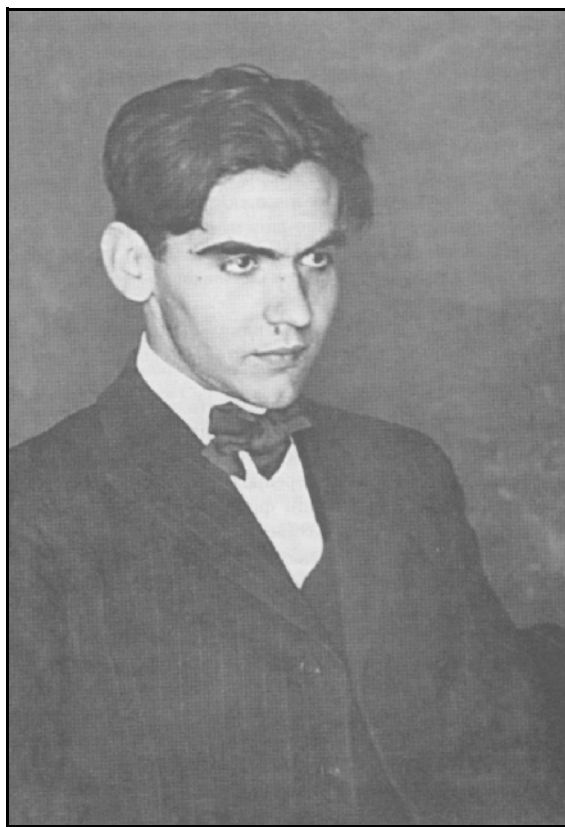
И пусть на сад мой, отданный разбою,
не глянет ни одна душа чужая.
Мне только бы дожидаться урожая,
взращённого терпением и болью.

Любовь моя, люби! — да не развяжешь
вовек ты жгучий узел этой жажды
под ветхим солнцем в небе опустелом!

А всё, в чём ты любви моей откажешь,
присвоит смерть, которая однажды
сочтётся с содрогающимся телом.

(перевод А.Гелескула)

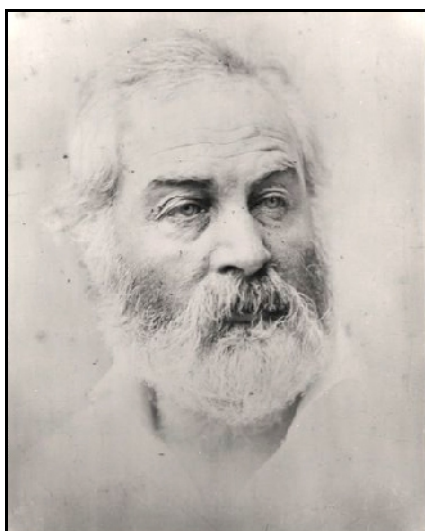
Многие запомнили Лорку весёлым, жизнерадостным, беззаботным, "солнечным юношей". Но не радость озаряла глубины его души. У него было страстное сердце, он умел любить и много страдал, о чём не знал никто. Осенью 1928 года поэт потерпел крушение в любви, след которой сохранился в его письме другу: "Недавно вся моя воля понадобилась мне, чтобы справиться с мукой, сильнее которой я не испытывал. Ты и не представляешь, что это — ночь за ночью глядеть с балкона на Гранаду и знать, что она пуста для тебя, и что ни в чём не будет утешения. Я просто измочален, до того истерзало меня чувство, с которым я должен справиться".



Федерико Гарсиа Лорка

Об интимной жизни Лорки мемуаристы либо хранят молчание, либо ограничиваются туманными намёками. Не будем и мы расшифровывать эти намёки. Доверимся самому поэту, в чьём творчестве на всём его протяжении присутствует тема беззаконной, запретной любви, которая вступает в конфликт с общепринятой моралью. Насколько личной и выстраданной была эта тема для Лорки, можно судить по тому, как пронзительно и неотступно звучит она во многих его произведениях. Например, в "Оде Уолту Уитмену":

И всегда о тебе вспоминал я, Уолт Уитмен,
о седых мотыльках бороды,
о твоей аполлоновой стати,
о плечах в линиях вельвете
и о голосе — смерче пепла;
как туман, красивый старик,
здесь ты плакал подстреленной птицей.
Враг сатиров, тирсов и лавров,
пел ты тело в рабочей рубашке.
Я всегда вспоминал о тебе,
мужественный красавец,
в дебрях угля, реклам и рельсов
ты хотел быть рекой и уснуть, как река,
горе друга укрыв на груди.
И не мог я забыть тебя, старый Адам,
как утёс, одинокий Уитмен,
потому что везде, где могли, содомиты, —
в окнах, в барах, по сточным канавам,
млея в лапах шофёров,
в карусели абсентовых стоек —
тыкали пальцем в тебя, Уолт Уитмен.
"Он тоже! Он тоже!" — эти сороки,
белые с севера, чёрные с юга,
на весь мир о тебе кричали.
По-змеиному жала целомудренный снег бороды,
по-кошачьи визжала эта мразь, это мясо для плётки,
для хозяйских забав и подмёток.
"Он тоже!" — кричали и тыкали
в берега твоего забытья.
А ты мечтал о друге,
пропахшем мазутом и солнцем,
тем же солнцем, что пело мальчишкам
под городскими мостами.



Уолт Уитмен

В "Оде Уитмену" Лорка настаивает на своём праве и праве таких, как он, на любовь, пусть непохожую на нашу, но для него любая любовь священна. Он ненавидит врагов любви, какой бы она ни была, и бросает вызов ханжам и фарисеям всех мастей, времён и народов.

Старый Уитмен, не брошу я камня
ни в подростка, который пишет
имя девочки на подушке,
ни в того юнца, что украдкой
примеряет платье невесты,
ни в того, кто чёрствую старость
запивает продажной любовью,
ни в тайного мужелюба,
закусившего молча губы.
Я клянусь, городские сороки,
вас, откормленных властью гарпий,
птиц болотных! Врагов бессонных
любви, приносящей свет!

И у нас тоже не поднимется рука бросить камень в поэта. Кто мы такие, чтобы его судить? "Безгрешный, как птица или конь", — так написал о нём один гватемальский поэт.

Такого Лорку мы ещё не знали. Но пришла пора, наконец, узнать его таким, каким он был, а не тот конфетный дистиллированный образ, придуманный биографами, который все эти годы был с нами. В пьесе "Публика" Лорка, по его словам, намеревался вывести на сцену "скрытую драму каждого, сидящего в зале". А скрытые драмы обычно мучительно остры и менее всего благопристойны. Была и у Лорки своя, мучительно острая драма. Скрывая её, поэт вместе с тем стремился её поведать — не прямо, а иносказательно, и в уже названных произведениях, и в тех, что успел лишь задумать: в трагедии "Разрушение Содома", в пьесе "У крови нет голоса", которая, как он обещал, "повергнет в ужас ханжей". Наконец, в "Сонетах тёмной любви", где он говорит об истерзавшем его чувстве просто и страшно:

Любовь до боли, смерть моя живая,
жду весточки — и дни подобны годам.
Забыв себя, стою под небосводом,
забыть тебя пугаясь и желая.
Ветра и камни вечны. Мостовая
бесчувственна к восходам и заходам.
И не пьянит луна морозным мёдом
глубин души, где темень гробовая.
Но за тебя шёл бой когтей и лилий,
звериных смут и неги голубиной,
я выстрадал тебя, и вскрыты жилы.
Так хоть бы письма бред мой утолили,
или верни меня в мои глубины
к потёмкам, беспросветным до могилы!

Когда один из друзей прочитал рукопись "Сонетов", он, не сдержавшись, воскликнул: "Господи, какая душа! Как же ты любил, сколько же ты страдал, Федерико!" Лорка улыбнулся в ответ: "При чём здесь я?" — и в этой улыбке была благодарность, признательность за понимание, но был и запрет, мягкий и бесповоротный. Так же мягко и с юмором — чтобы не обидеть высокомерием — он уходил от ответа, когда журналистское любопытство переходило

границы. При всей искренности Лорка был очень скрытен, и редко о ком мы знаем так мало, как о нём. Он привычно берёт от чужого взгляда своё сокровенное.

Из письма Лорки: "Я берегу и оберегаю свою личную жизнь, потому что боюсь дурацкой славы. Едва прославишься, и ты обречён — те, чужие, раскроют тебе грудь лучами своих карманных фонарей".

Потёмки моей души
отступают перед зарёю азбук,
перед туманом книг
и сказанных слов.
Потёмки моей души!



Рисунок Ф. Гарсиа Лорки "Моряк"

Под этим рисунком была надпись: "Только тайной мы живы, только тайной..." Но, к счастью, над художником такой стихийной силы не властны и собственные обеты, и, вопреки своему правилу, Лорка пишет книгу любовной лирики, где в чеканной форме с потрясающей неукротимой мощью выражает себя трагически безнадежная страсть.

Пуховый снег над жаркими крылами,
вскипая, словно пена, по озёрам,
жемчужно стынет инистым узором
в саду, где наши губы отпылали.
Погладь рукою пёрышко любое —
и снежная мелодия крылато
весь мир запорошит перед тобою.
Так сердце от заката до заката
боится, окольцовано любовью.
Не вымолить тебя, моя утрата.

Я рискну назвать имя адресата "сонетов тёмной любви". Тем более, что до меня это сделал ирландский писатель и учёный Ян Гибсон в своей нашумевшей книге "Пара века", получившей премию опубликовавшего её издательства "Пласа и Ханес", где ирландский испанист обращается к теме непростых взаимоотношений Лорки с его давним другом Сальвадором Дали с модных сейчас фрейдистских позиций.



**Ф. Гарсиа Лорка и Сальвадор Дали.
Порт-Льигате. 1927**

"Они познакомились в 1923 году в Студенческой резиденции в Мадриде. А после того, как поэт побывал у Дали в гостях в Кадакесе в 1925-м, он покидает Каталонию, глубоко влюблённый в художника. Но Дали не желает прислушаться к своим подавленным гомосексуальным наклонностям, а потому любовь между ними так и не состоялась. Если бы она состоялась, она, безусловно, обогатила бы жизнь и творчество обоих, заслужила бы, чтобы про неё была написана монография". И ещё: "Когда Дали понял, что Лорка влюбился в него, между ними началось отчуждение. Я познакомился с ним в его последние годы, и он сказал мне, что Лорка был его лучшим другом"

Из "Сонетов тёмной любви":

Мы всплыли в ночь — и снова ни уступки,
ответный смех отчаянье встречало.
Твоё презренье было величаво,
моя обида — немощней голубки.

Мы выплыли, вдвоём в одной скорлупке.
Прощался с далью плач твой у причала.
И боль моя тебя не облегчала,
комочек сердца, жалостный и хрупкий.



Из письма Лорки — Сальвадору Дали: "Всё вспоминаю тебя. Даже, кажется, слишком. Такое впечатление, что в руке у меня — золотой, круглая, тёплая монета. А разменять его не могу. И не хочу, сынок. Как вспомню, какая ты страхолюдина, так ещё сильнее люблю". ("Сынок" — это форма фамильярного обращения, как у нас — "старик". — Н.К.)

В 1929 году Дали вместе с Луисом Бунюэлем снимет фильм "Андалузский пёс", в герое которого, наделённого весьма непривлекательными чертами, узнавался Лорка. Гибсон утверждал, что Луис Бунюэль был против зарождавшегося чувства между двумя великими творцами. Был момент, когда кинематографист сделал всё, чтобы разрушить возникшую между Лоркой и С.Дали дружбу. Именно поэтому он и создал свой фильм "Андалузский пёс", который являлся направленной против Лорки сатирой, ставший не только кинематографическим манифестом сюрреализма, но и эпилогом старой дружбы Лорки и Дали.

Через год после смерти поэта, когда огромным его портретом республиканская Испания украсит свой павильон на Всемирной выставке, его бывший друг Сальвадор Дали предложит выставить в том павильоне свои картины с одним условием: пусть снимут портрет Федерико, занимавший, по мнению Дали, слишком много места. Но перед смертью он, говорили, в бреду повторял имя Лорки...

Ты знать не можешь, как тебя люблю я, —
ты спишь во мне, спокойно и устало.
Среди змеиных отзвуков металла
тебя я прячу, плача и целуя.

Тела и звёзды грудь мою живую
томили предрешённостью финала,
и злоба твои крылья запятнала,
оставив грязь, как метку ножевую.

Неживое моё дитя

(М.Шкапская)

Мария Шкапская (урождённая Андреевская) родилась в Петербурге в 1891 году. Детство её прошло в достоевских питерских трущобах. Отец был душевнобольным, получал грошовую пенсию, мать — парализована, будущей поэтессе с 11 лет приходилось зарабатывать на жизнь семье из 7 человек. Свалка городского мусора была источником существования для городской бедноты. Девочка собирала там кости, тряпки, жестянки, строительный мусор на продажу, стирала бельё соседям. На трудовые копейки умудрилась выучиться, писала письма на почте, надписывала адреса, позже давала уроки. Окончив два курса медицинского факультета, дежурила в больницах, психиатрических клиниках. Никогда не жаловалась, даже благодарна была этой школе жизни: она закалила характер, приучила к труду.

В поэзию Мария Шкапская пришла со своей отчётливой неповторимой интонацией. Стихи она обычно записывала в строчку, как прозу, словно стыдясь искусственности, неприродности говорения в рифму. Ей казалось: писать стихи стыдно. Не стыдно писать стихами только о том, о чём стыдно говорить иначе.

Я вся из острых углов,
всегда, для всех — недотрожка.
Боюсь завершённых слов
и правды боюсь немножко.

Куда-то ведут — куда? —
следы на спутанном плане.
Безумье и жизнь всегда
на острой, как бритва, грани.

Шкапская вся — на грани. Может быть, поэтому её услышали немногие, и немногие из услышавших — не испугались. Имя Шкапской всегда было известно в тесном кругу поэтов и любителей поэзии, но упоминание этого имени обычно вызывало не только восхищение её стихами, но и некоторую иронию, мужскую усмешку. Считалось, что женщине всё-таки неприлично доходить до такой степени откровенности. Она писала о том, о чём говорить было в обществе не принято: об утрате девственности, о половой любви, деторождении, абортах, выкидышах, женских разочарованиях.

Да, говорят, что это нужно было...
И был для хищных гарпий страшный корм,
и тело медленно теряло силы,
и укачал, смиряя, хлороформ.
И кровь моя текла, не усыхая —
не радостно, не так, как в прошлый раз,
и после наш смущённый глаз
не радовала колыбель пустая.
Вновь, по-язычески, за жизнь своих детей
приносим человеческие жертвы.
А ты, о Господи, Ты не встаёшь из мёртвых
на этот хруст младенческих костей!

"До Вас женщина не говорила так о себе", — писал ей несколько обалдевший от прочитанного Горький. Михаил Кузмин нашёл её стихи чересчур физиологичными (странно,

вообще-то, слышать подобное от автора полупорнографических "Крыльев", но, вероятно, непристойной Кузмину казалась только женская физиология). М.Гаспаров в предисловии к "Избранному" М.Шкапской пишет, что о её стихах упоминать как бы не принято. И то сказать, это не самое приятное чтение. Тут много крови, много натурализма. Один салонный критик даже назвал её стихи "менструальной поэзией".

Было тело моё без входа
и палил его чёрный дым.
Чёрный враг человеческого рода
наклонялся хищно над ним.
И ему, позабыв гордыню,
отдала я кровь до конца
за одну надежду о сыне
с дорогими чертами лица.

подавим в себе низкую иронию: поэзия Шкапской потому и поэзия, что в ней запечатлено вечное и подлинное бытие. В её стихах оживает истина женской судьбы.



Мария Шкапская

У Шкапской в то время был страстный, бурный роман. Тогда же она пережила аборт, оказавшийся для неё едва ли не главным, страшнейшим переживанием: почти все стихи из книги "Матерь Долороза" (1921) — книги, сделавшей ей имя, посвящены нерождённому сыну.

Неживое моё дитя,
в колыбель мы тебя не клали,
не ласкали, ночью крестя,
губы груди моей не знали.
На кладбище люди идут —
дорогая сердцу задача, —
отошедшим цветы снесут
и живыми слезами плачут.
Обошла бы кругом весь свет —
не найду дорогой могилки.

Только в сердце твой тихий след,
плоть от плоти, от жилок жилка.
Неживое моё дитя,
в колыбель мы тебя не клали,
не ласкали, ночью крестя,
губы груди моей не знали.

Не ставшее плотью — стало словом. И на этом искусство кончилось, почва ушла из-под ног, у судьбы захватило дух... Гибель сына и гибель тысяч нерождённых детей, и всех, кто был когда-то детьми — вот главная тема Марии Шкапской. И всех этих мёртвых, как и своих мёртвых, Шкапская, с её изначально трагическим мировоззрением, чувствует кровно близкими, своими. Здесь и происходит её отождествление с Россией, которая должна была родить новое и великое, а вместо этого захлёбывалась собственной кровью.

Ах, дети, маленькие дети,
как много вас могла б иметь я
вот между этих сильных ног —
осуществлённого бессмертья
почти единственный залог.
Когда б ослеплена миражем
минутных ценностей земных,
ценою преступления даже
не отреклась от прав своих.

"Вот между этих сильных ног", — да, это сильно сказано. И у самой Цветаевой, известной своей лирической дерзостью, немного найдётся подобных физиологизмов, поскольку Цветаева мыслила себя всё же прежде всего воплощённой душой, Психеей, которую плоть только обременяет. В стихах Шкапской всё иначе: тут не дух воплощён, а плоть одухотворена, и главное её оправдание — в деторождении, продолжающем род и делающем женщину сопричастной бессмертью.



Б.Э. Мурильо. Мадонна с младенцем.

Под сердцем тепло и несмело
оно шевелилось и жило.
Но тело, безумное тело,
родной тяготы не сносило.
И мне всё больней и жальче
и сердце стынет в обиде,
что мой нерождённый мальчик
такого солнца не видит.

Не снись мне так часто, крохотка,
мать свою не суди.
Ведь твоё молоко нетронутым
осталось в моей груди.
Ведь в жизни — давно узнала я —
мало свободных мест.
Твоё же местечко малое
в сердце моём как крест.
Что ж ты ручонкой маленькой
ночью трогаешь грудь?
Видно, виновной матери —
не уснуть!

Эта боль о нерождённом ребёнке не покидала её никогда, даже когда родила и вырастила двух сыновей и дочь. Она кричала в своих стихах о том, о чём все женщины обычно молчат. Душа её кричала.

В землю сын ушёл — и мать
от земли не может встать.
Был он нежный, был родной,
был он ей, лишь ей одной, —
нежный тёплый гольшок,
в теле розовый пушок.

Станут старше, взрослее дети,
и когда-нибудь Лелю и Ате
расскажу я о старшем брате,
который не жил на свете.
Будут биться слова, как птицы,
и томиться будут объятья.
Опустив золотые ресницы,
станут сразу серьёзны братья.
И, меня безмолвно дослушав,
скажут: "Как ты его хотела!
Ты ему отдала свою душу,
а нам — только тело".
И тогда только, милый Боже,
я пойму, что всего на свете
и нужней, и теплей, и дороже

мне вот эти, живые дети.
И Тебе покорна и рада,
и прошу того, неживого,
вот за эти Твои лампы,
за Тобой рождённое слово.

Она не могла сказать, как Цветаева: "Мной совсем ещё не понято, что дитя моё в земле", потому что именно с этого понимания Шкапская и начинается. Она не могла сказать, как Ахматова: "Отыми и ребёнка, и друга, и таинственный песенный дар", она, всегда молившая Господа об обратном:

До срока к нам не протягивай
тонких пальцев своих,
не рви зелёные ягоды,
не тронь колосьев пустых.
Ткани тугие, нестканые,
с кросен в ночи не снимай.
Детям, Тобою мне данным,
вырасти дай.

В отличие от Цветаевой и Ахматовой, для Шкапской главное — не мужчина, не муж, не любовь, главное — это счастье быть матерью.

Справилась бы со жгучей жаждой,
сердце терпеливо и звонко.
Милого может заменить каждый,
но кто даст мне его ребёнка?

Как много женщин ты ласкал
и скольким ты был близок, милый.
Но нёс тебя девятый вал
ко мне с неудержимой силой.
В угаре пламенных страстей
как много ты им отдал тела,
но матерью своих детей
ты ни одну из них не сделал.
Какой святой тебя хранил?
Какое совершилось чудо?
Единой капли не пролил
ты из священного сосуда.
В последней ласке не устал
и до конца себя не отдал.
Ты знал? О, ты, наверно, знал,
что жду тебя все эти годы!
Что вся твоя, и вся в огне,
полна тобой, как мёдом чаша.
Пришёл, вкусил, и — весь во мне,
и вот дитя — моё и наше.
Полна рука моя теперь,
мой вечер тих и ночь покойна.

Господь, до дна меня измерь, —
я зваться матерью достойна.

О тяготы блаженной искушенье,
соблазн неодолимый зваться "мать"
и новой жизни новое биенье
ежевечерне в теле ощущать!
По улице идти как королева,
гордясь своей двойной судьбой.
И знать, что взыскано твоё слепое чрево,
и быть ему владыкой и рабой,
и твёрдо знать, что меч Господня гнева
в ночи не встанет над тобой.
И быть как зверь, как дикая волчица,
неутоляемой в своей тоске лесной,
когда придёт пора отвоплотиться
и стать опять отдельной и одной.

Счастливый домик (В.Ходасевич)

В 1911 году Владислав Ходасевич женится на Анне Гренцион, младшей сестре писателя Георгия Чулкова. Это был счастливый брак, хотя и не первый в жизни обоих. Своей второй жене Ходасевич посвящает вторую книгу стихов "Счастливый домик". Название это взято им из стихотворения Пушкина "Домовой" ("И от недружественного взора счастливый домик охрани!") Счастливый домик, воспетый Ходасевичем в книге — призрак семейного счастья, которое он испытал там с женой и сыном (у Анны был ребёнок от первого брака). И если в прежних стихах поэта преобладали душевное смятение, драматизм, трагизм, мятежные думы, внутренняя раздвоенность, то в "Счастлимом домике" он выразил гармонию родственных отношений, идеал домашнего очага, семейного уюта, простого сердечного счастья.

О радости любви простой,
утехи нежных обольщений!
Вы величавей, вы священной
величия души пустой.

Вместе они пережили тяжёлое время революций, голода, безденежья. Из воспоминаний Надежды Мандельштам: "Жили они трудно. Без жены Ходасевич бы не вытянул. Анна добывала пайки, приносила их, рубила дровешки, топила печку, стирала, варила, мыла больного Владека...К тяжёлому труду она его не допускала". Когда весной 1920-го Ходасевич заболел фурункулёзом, жена по 20 раз в день перевязывала все его 120 нарывов. Самоотверженность этой женщины не знала себе равных. Утром она спешила на службу, вечером была за кухарку, потом — за сестру милосердия. Она была его женой, сестрой, матерью, ангелом-хранителем...

М. Шагинян в рецензии на "Счастливый домик" Ходасевича писала: "Его счастливый домик — это совсем особый домик, в котором следовало бы хоть немного погостить каждому из нас". Но революция, годы военного коммунизма, гражданская война с их голодом, холодом, бедностью, болезнями, каждодневными тяготами расшатали "счастливый домик". В течение нескольких лет картина мира разительным образом изменилась. Для иллюзий в нём уже не оставалось места.

Здесь домик был. Недавно разобрали
верх на дрова. Лишь каменного низа
остался грубый остов...

Эти стихи предвосхитили распад семейного домика самого Ходасевича. Летом 1922 года он встречает молодую писательницу Нину Берберову, которая станет его третьей женой. Он ничего не мог поделать с этим чувством:

Должно быть, это мой позор,
но что же, если вот —
душа, всему наперекор,
поёт, поёт, поёт?



Нина Берберова

Ходасевич дарит Берберовой свою новую книгу "Путём зерна" с надписью: "Нине Владиславовне. 1922. Начало весны". Да, для них, решивших что будут вместе, это действительно было началом весны, новой жизни, началом тёплого счастливого времени, когда прорастают зёрна и удержать их невозможно. Но для законной жены поэта Анны Ивановны это было не началом, а концом, трагической развязкой, близость которой она чуяла и умоляла сказать ей правду. Однако Ходасевич не нашёл для неё этих горьких, но честных слов. Он уехал с Берберовой за границу тайно, посылая жене с дороги (якобы из командировки), телеграммы о том, что скоро будет, чтобы та не верила сплетням и пекла к его приезду его любимый яблочный пирог. Это были необходимые меры конспирации, чтобы не узнали раньше времени, не помешали отъезду. Всё так, но... Всё же по отношению к Анне его поступок был бесчеловечен. Уехать навсегда, не простившись, не объяснившись, не попросив прощения за своё предательство...



В. Ходасевич и Н. Берберова

Анна никогда не держала на Ходасевича зла, не сказав ему ни слова упрёка. Она дожила до хрущёвской оттепели, сохранив архив поэта и сделав всё возможное, чтобы творчество её мужа, сбежавшего к другой женщине, не забылось на Родине. Почему поэт уехал тогда с 20-летней красавицей Ниной Берберовой, а не с ней, столько сделавшей для него в самое трудное время? Ответа нет. Саму Берберову это тоже удивляло: "Меня поразило, — писала она в воспоминаниях, — что он сматывается втихаря от женщины, с которой провёл все тяжёлые годы и которую называл женой". Судя по всему, трагедия Ходасевича была глубже внешнего зла — он знал, что частица зла мирового сокрыта и в нём самом.

Из его стихов, написанных в Берлине:

О чём? Забыл. Непостижимо.
Как можно жить в тоске такой!
Он вскакивает. Мимо, мимо,
на ветер, на берег морской!
Колышется его просторный
пиджак — и, подавляя стон,
пред европейской ночью чёрной
заламывает руки он.

("Европейская ночь")

Кажется, что он это пишет о себе. Тогда, весной 22-го, Ходасевич сказал своей юной невесте на их первом свидании, что у него теперь две задачи в жизни: быть с ней вместе и — уцелеть. Задачи были успешно решены: Россия осталась в кошмарном прошлом, рядом — любимая женщина, новые страны, знакомства, встречи, жизнь — с чистого листа... Но что-то мешало быть счастливым.

Душа! Тебе до боли тесно
здесь, в опозоренной груди.
Ищи отрады поднебесной,
а вниз, на землю, не гляди.

Там, с оставшейся далеко внизу земли смотрели на него ничего не понимающие, доверчиво распахнутые глаза брошенной Ани, которая продолжала с надеждой печь его любимый яблочный пирог: а вдруг правда вернётся?



Пробочка над крепким йодом!
Как ты скоро перетлела.
Так вот и душа незримо
жжёт и разъедает тело.

Душа, память, совесть стали неодолимым препятствием к счастью.

Мне каждый звук терзает слух,
и каждый луч глазам несносен.
Прорезываться начал дух,
как зуб из-за припухших дёсен.

Прорежется — и сбросит прочь
изношенную оболочку.
Тысячеокий — канет в ночь,
не в эту серенькую ночку.

А я останусь тут лежать —
банкир, заколотый апашем, —
руками рану зажимать,
кричать и биться в мире вашем.

(“Из дневника”)

Любимая женщина спустя 10 лет ответит поэту таким же предательством, уйдя к другому. Он вскоре умрёт на операционном столе в возрасте 53 лет.



В. Ходасевич

Когда бы долго жил на свете,
должно быть, на исходе дней
упали бы соблазнов сети
с несчастной совести моей.
Какая может быть досада,
и счастья разве хочешь сам,
когда нездешняя прохлада
уже бежит по волосам?..

Распад атома *(И.Одоевцева)*

Всем известна счастливая поэтическая пара Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой, проживших долгие эмигрантские годы в любви и согласии. Три с половиной десятка лет длилась их совместная жизнь и совместная творческая деятельность, до смерти Г.Иванова, скончавшегося во Франции в 1958 году. Тогда, в 19-м, в Петербурге никто не ожидал, что между ними возникнет серьёзное чувство. У Георгия Иванова была репутация избалованного женским вниманием сердееда, пресыщенного и слишком ленивого, чтобы терпеливо ухаживать за юной девушкой, и Николай Гумилёв опрометчиво познакомил с ним Ирину Одоевцеву, не считая опасным себе соперником. Он просчитался. И понял это, когда Г.Иванов прочёл ему свои новые стихи:

Не о любви прошу, не о весне пою,
но только ты одна послушай песнь мою.
Но разве мог бы я — о посуде сама —
в твои глаза взглянуть и не сойти с ума!



Ирина Одоевцева

Гумилёв сразу понял, о каких глазах идёт речь, — сам не раз посвящал им восторженные строки. А Г. Иванов сам себя не узнавал, он никогда не думал, что способен на такой порыв душевной теплоты, такую сумасшедшую нежность:

Отзовись, кукушечка, яблочко, змеёныш,
весточка, царпинка, снежинка, ручеёк,
нежности последыш, нелепости приёмыш,
кофе-чай-сахарный потерянный паёк.

Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок,
в одеяльной одуре, в подушечной глуши,
белочка, метёлочка, косточка, утёнок,
ленточкой, верёвочкой, чулочком задуши...

А она? Любила ли и она его так же самозабвенно? Вряд ли. Вот Ирина Одоевцева описывает их первое свидание в Летнем саду:

Я пришла не в четверть второго,
как условлено было, а в пять.
Он с улыбкой сказал: "Гумилёва
Вы бы вряд ли заставили ждать".

Я смутилась. Он поднял высоко,
чуть прищурившись, левую бровь.
И — ни жалобы, ни упрёка.
Я подумала: это любовь.

Но если и любовь, то она явно уступала чувству её спутника жизни. Иначе бы Г.Иванов не говорил ей с упрёком спустя много лет: "Почему ты со многими бываешь так мила, так добра, только не со мной?" Он, видимо, так и не смог до конца добиться её любви.



Г. Иванов. 20-е гг.

И. Одоевцева была очень хороша собой, до преклонных лет её окружали поклонники. И был такой драматический эпизод в их жизни в эмиграции. Однажды в неё влюбился красивый успешный богач и сделал ей предложение. Она не устояла перед соблазном шикарной жизни (с Г.Ивановым в то время они жили довольно неустроенно) и цинично (другого слова не подберу) испросила у мужа разрешения на этот брак. Г.Иванов не стал её удерживать и тут же дал развод. Однако, когда освободившаяся от брачных уз Одоевцева приехала в другой город к своему новому избраннику, оказалось, что тот ещё не был разведён. И предложил ей самой провести переговоры с его женой. Одоевцева была так поражена и оскорблена этим предложением, что тут же села в поезд и вернулась домой. Г.Иванов радостно встретил её и ни разу ни словом не упрекнул. Только сказал: "Я сходил с ума..."

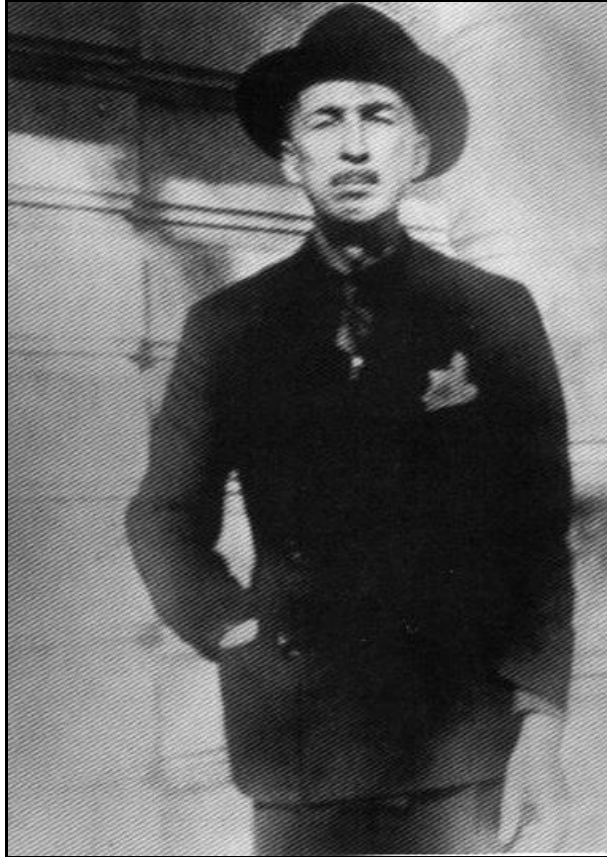
Однако этот кратковременный уход жены стоил ему сердечного приступа, спровоцировавшего предсмертный инсульт, от которого он уже так и не оправился. Фактически он стал причиной его смерти.

Страсть? А если нет и страсти?
Власть? А если нет и власти
даже над самим собой?
Что же делать мне с тобой?

Только не гляди на звёзды,
не грусти и не влюбляйся,
не читай стихов певучих
и за счастье не цепляйся —
счастья нет, мой бедный друг.

Счастье выпало из рук,
камнем в море утонуло,
рыбкой золотой плеснуло,
льдинкой уплыло на юг.

Счастья нет, и мы не дети.
Вот и надо выбирать —
или жить, как все на свете,
или умирать.

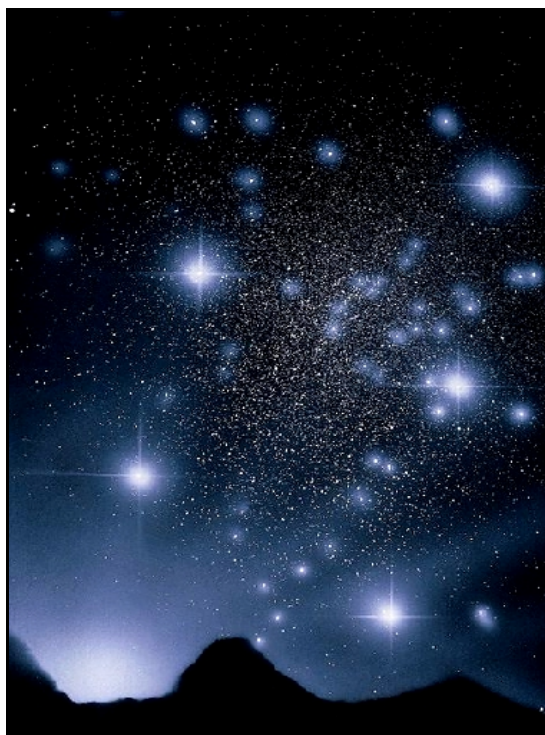


Георгий Иванов. 1957 г.

Его переживания отразились впоследствии в романе "Распад атома":

"Женщина сама по себе вообще не существует. Она тело и отражённый свет. Но вот ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушёл от меня. Ты уносила мой свет, оставляя меня в темноте. В тебе одной, без остатка, сосредоточилась вся прелесть мира. А я мучительно жалел, что ты будешь стара, больна, некрасива, будешь с тоской умирать, и я не буду с тобой, не солгу, что ты поправляешься, не буду держать тебя за руку. Я должен был бы радоваться, что не пройду хоть через эту муку. Между тем здесь заключалось главное, может быть, единственное, что составляло любовь. Ужас при одной этой мысли всегда был звездой моей жизни. И вот тебя давно нет, а она по-прежнему светит в окне.

Я хочу заплакать, я хочу утешиться. Я хочу со щемящей надеждой посмотреть на небо. Я хочу написать тебе длинное прощальное письмо, оскорбительное, небесное, грязное, самое нежное в мире. Я хочу назвать тебя ангелом, тварью, пожелать тебе счастья и благословить, и ещё сказать, что где бы ты ни была, куда бы ни укрылась — моя кровь мириадами непрощающих, никогда не простящих частиц будет виться вокруг тебя".



Угрозы ни к чему. Слезами не помочь.
Тревожный день погас, и наступила ночь.

Последний слабый луч, торжественно и бледно
сиявший миг назад — уже исчез бесследно.

Ночь — значит, надо спать. Кто знает — в смутном сне,
быть может, жизнь моя опять приснится мне.

И, сердце мёртвое на миг заставив биться,
наш первый поцелуй блаженно повторится.

Мучила ли Ирину Одоевцеву совесть по поводу своего легкомысленного — как считала она, а по сути — жестокого и предательского поступка? Скорее всего, нет. Натура одарённая, но неглубокая, она продолжала легко идти по жизни "на высоких гнутых каблучках", радуясь её щедрым дарам: новым поклонникам, нарядам, автомобилям. После Г.Иванова у неё было ещё двое мужей, значительно моложе её, которых она пережила. И только одно стихотворение даёт надежду считать, что минуты тоски и раскаяния всё-таки приходили и к ней:

Скользит слеза из-под усталых век,
звенят монеты на церковном блюде...
О чём бы ни молился человек,
он непременно молится о чуде.

Чтоб дважды два вдруг оказалось пять
и розами вдруг расцвела солома.
И чтоб к себе домой прийти опять,
хотя и нет ни у себя, ни дома.

Чтоб из-под холмика с могильною травой
ты вышел вдруг весёлый и живой.

Как страшно с тобой расставаться...

(В. Соколов)

Владимир Соколов — один из лучших лириков России, совесть русской поэзии. Его спокойный светлый стих однажды сорвался на крик:

Я устал от 20-го века,
от его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
я давно уже не человек.

Причиной этого отчаяния были не только российские катаклизмы, но и тайная семейная трагедия, груз которой нёс он в душе всю жизнь.



Владимир Соколов

Ещё студентом Литинститута он женился на болгарке по имени Буба. У них родилось двое детей: сын Андрей и дочь Снежана. Но семейная жизнь не задалась. Буба увлеклась Ярославом Смеляковым, открыто встречалась с ним, пила. Это была драма их жизни, которая отражена в стихах Соколова.

Пахнет водою на озере
возле одной из церквей.
Там не признал этой росстани
юный один соловей.
Как он ликует божественно
там, где у розовых верб
тень твоя, милая женщина,
нежно идёт на ущерб.
Истина ненаказуема.
Ты указала между.

Я ни о чём не скажу ему.
Я ни о чём не скажу.

Нет сил никаких улыбаться,
как раньше, с тобой говорить,
на доброе слово сдаваться,
недоброе слово хулить.
Я всё тебе отдал. И тело,
и душу — до крайнего дня.
Послушай, куда же ты дела,
куда же ты дела меня?

Однажды проснётся она
со мной совершенно одна.
Рукой пустоту она тронет,
разбудит её и прогонит.
Так что ж это всё-таки было,
какая нас сила сводила?!
Я выйду. Пойму: не вернусь.
И всё ж, уходя, оглянусь.

Но ушёл не он, а она. Ушла из жизни. Буба выбросилась из окна 6-го этажа. У неё было что-то не в порядке с психикой. Друзья предчувствовали такой финал (суицидные попытки были и прежде), стерегли её, но не уберегли. Соколов тяжело переживал её смерть.

"Как страшно с тобой расставаться..."
Какие простые слова.
Зачем журавлю оставаться,
когда улетает листва?

И, руки подняв от испуга,
что неба опять не боюсь,
кричу я: "Подруга, подруга" —
на всю поднебесную Русь.

Прощай. Я в любви не прощаю.
Прощай, поминай обо мне.
Я помнить тебя обещаю,
как в юности, как на войне.



Чем больше поэт — тем больше, как правило, трагедия его жизни. Какой-то рок, казалось, висел над его семьёй. Вскоре нелепой случайной смертью погибает сын Андрей. Стихи Соколова о смерти особенно пронзительны. Что-то в них мистическое, непостижимое...

Я хотел позвонить в прожитое,
в телефонную будку войдя,
чтоб услышать, задумчиво стоя,
в трубке голос под шорох дождя.

Затвориться от нынешней шири
и спросить у того, что прошло:
"Что там нового в канувшем мире?"
Мёртвый голос ответил: "Алло".



Владимир Соколов и Марианна

Соколов стал сильно пить. Он погибал. Его спасла, вытащила из трясины пьянства Марианна — его новая любовь. Рядом с ней он очень изменился. Она стала его булгаковской Маргаритой. Соколов воспел её во множестве стихов. Но та, первая любовь осталась в груди незаживающей раной. Это из давних стихов о ней:

Я полон весь приметами твоими.
Ты вся со мною, как ни уходи.
В ночи, в пути — искать я буду имя
теснящемуся у меня в груди.

И как мне знать — слова придут откуда.
И ты откуда у меня в судьбе?
...Я никогда тебя не позабуду,
не перестану думать о тебе...

От прошлого спасенья нет (Б.Окуджава)

У Окуджавы много стихов и песен о преображающей душу силе музыки. "Моцарт на старенькой скрипке играет", "Музыкант в саду под деревом наигрывает вальс", "Музыка", "Вот ноты звонкие органа", "В городском саду" и многие другие. А мне очень нравится вот это, менее известное:

Над площадью базарною
вечерний дым разлит.
Мелодией азартною
весь город с толку сбит.

Еврей скрипит на скрипочке
о собственной судьбе,
а я тянусь на цыпочки
и плачу о тебе.

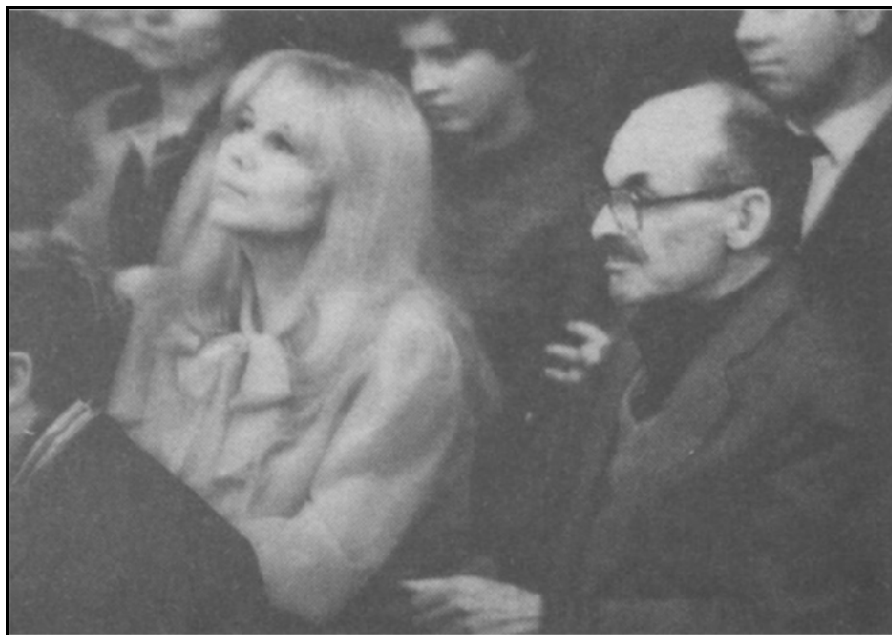
Снуёт смычок по площади,
подкрадываясь к нам,
все музыканты прочие
укрылись по домам.

Все прочие мотивчики
не стоят ни гроша,
покуда здесь счастливики
толпятся чуть дыша.

Какое милосердие
являет каждый звук,
а каково усердие
лица, души и рук,

как плавно, по-хорошему
из тьмы исходит свет,
да вот беда, от прошлого
никак спасенья нет.

В этой песне Окуджава писал о себе. В начале 60-х годов в семье поэта начался разлад. Причиной была другая женщина — Ольга Арцимович, которая стала потом второй женой Булата. Красавица блондинка, волевая, властная, ей посвящены "Путешествие дилетантов", "Вилковские фантазии", "Прогулки фраеров", "Стихи без названия". Она была самым строгим критиком Окуджавы: в интервью как-то заявила, что от всего его наследия оставила бы стихов 30. Это ей посвящено "Строгая женщина в строгих очках мне рассказывает о сверчках..."



Булат Окуджава и жена Ольга

Разлад с первой женой Галиной многим тогда, в том числе и самому Булату, казался каким-то недоразумением. На долю этой весёлой и доброй женщины выпали самые трудные, неустроенные годы жизни с Окуджавой, годы ожиданий и надежд, и её мягкий спокойный характер помог ему преодолеть все невзгоды. Этот разрыв дался ему очень тяжело. Когда-то он не мог даже представить, что такое может случиться.

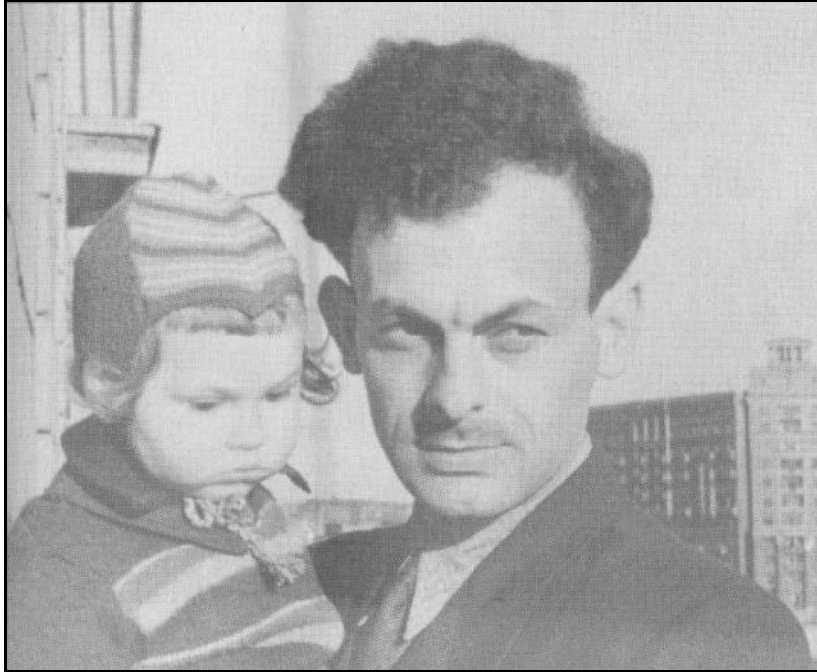
Всякое может стать.
(В жизни чему не быть?)
Вдруг захочу расстаться,
вдруг разучусь любить.

Вдруг погляжу с порога
за семь морей и рек:
"Вон где моя дорога,
глупый я человек!"

И соберусь проститься,
лишь оглянусь назад:

две молчаливых птицы
из-под бровей глядят,

будто бы говорят мне:
"Останови свой бег,
это же невероятно,
глупый ты человек!"



Булат Окуджава с сыном Игорем

Первый ребёнок Булата и Галины — девочка — умерла при родах. А через несколько лет у них родился сын Игорь. Ему Окуджава посвятил стихотворение "Оловянный солдатик моего сына", которое в 1967 году в Югославии получило высшую премию "Золотой венец". В России оно было впервые опубликовано лишь через 5 лет в "Московском комсомольце", за что главный редактор П.Гусев был наказан.

Земля гудит под соловьями,
под майским нежится дождём.
А вот солдатик оловянный
на вечный подвиг осуждён.

Его, наверно, грустный мастер
пустил по свету, невзлюбя.
Спроси солдатика: "Ты счастлив?"
И он прицелится в тебя.

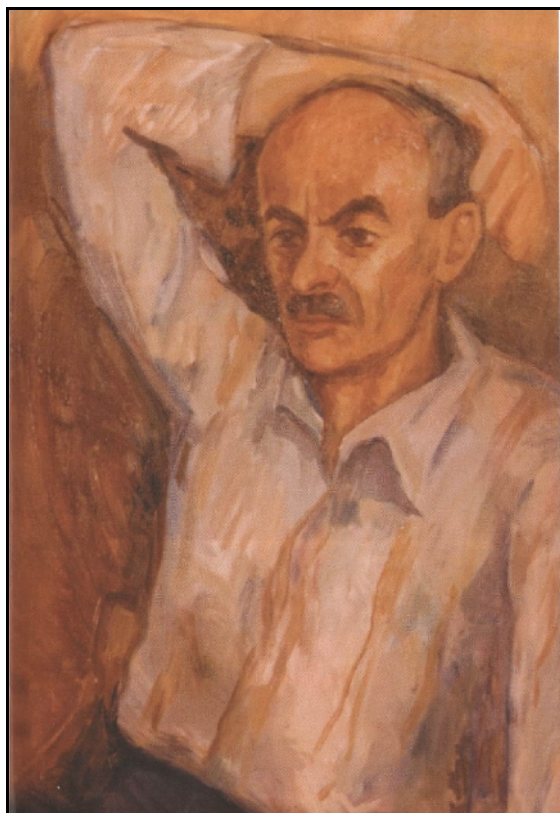
И в смене праздников и буден,
в нестройном шествии веков
смеются люди, плачут люди,
а он всё ждёт своих врагов.

Он ждёт упрямо и пристрастно,
когда накинется, трубя...
Спроси его: "Тебе не страшно?"
И он прицелится в тебя.

Живёт солдатик оловянный
предвестником больших разлук
и автоматик окаянный
боится выпустить из рук.

Живёт защитник мой, невольно
сигнал к сражению торопя.
Спроси его: "Тебе не больно?"
И он прицелится в тебя.

Ружьё солдата рикошетом выстрелило в самого Булата. Если бы он мог предвидеть тогда все последствия своего поступка... Позже, глядя на свой портрет, написанный Сергеем Авакяном, Окуджава скажет, что в нём художнику удалось передать самое главное — это его беспомощность перед обстоятельствами, перед невозможностью что-либо изменить.



Портрет Булата Окуджавы работы С. Авакяна

Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.

Но было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда, согнувшись, входят в дом,
стыдясь себя, мужчины.

И был тот крик далёк-далёк
и падал так же мимо,
как гладят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых.

Когда ласкать уже невмочь
и отказаться трудно...
И потому всю ночь, всю ночь
не наступало утро.

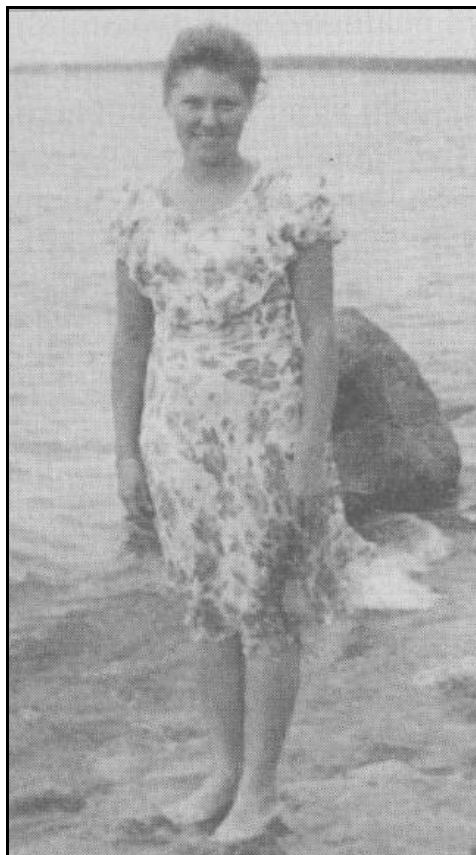
Булат ещё долго колебался, прежде чем уйти из семьи. Но, получив резкую отповедь от Галины, решился: разыграла армяно-грузинская кровь.

Глаза, словно неба осеннего свод,
и нет в этом небе огня.
И давит меня это небо и гнёт —
вот так она любит меня.

Прощай. Расстаёмся. Пощады не жди!
Всё явственней день ото дня,
что пусто в груди, что темно впереди —
вот так она любит меня.

Ах, мне бы уйти на дорогу свою,
достоинство молча храня,
но, старый солдат, я стою, как в строю...
Вот так она любит меня.

Вскоре у Ольги родился от Булата сын Булат. Через полтора месяца после его рождения Окуджава развёлся с Галиной. Она и сын Игорь восприняли его уход очень болезненно. Игорь так и не простил его, не общался с ним, не признавал в нём отца. Галина тяжело переживала их разрыв и через год скончалась от сердечного приступа в подъезде своего дома. Ей было всего 39.

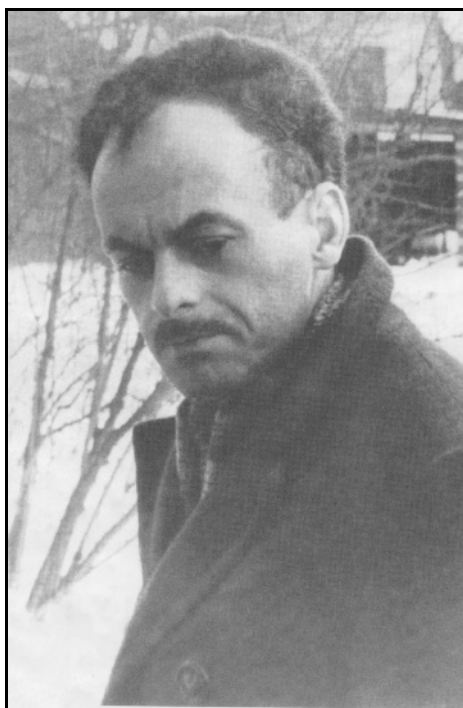


Первая жена Галина

Булат не хотел идти на похороны. Он боялся, что если на них явится, все будут осуждающе глядеть на него как на главного виновника случившейся трагедии и перешёптываться: вот ведь, мол, хватило наглости, явился как ни в чём не бывало, да что, ему всё как с гуся вода... Писательница Зоя Крахмальникова, друг Окуджавы, уговорила его всё-таки прийти на них. И в продолжении всей этой долгой душераздирающей кладбищенской процедуры она стояла рядом с еле держащимся на ногах Булатом, изо всех сил сжимая его ладонь. Потом он посвятит ей стихотворение "Прощание с новогодней ёлкой", где будут такие строки:

Ель моя, ель, уходящий олень,
зря ты, наверно, старалась:
женщины той осторожная тень
в хвое твоей затерялась!

Ель моя, ель, словно Спас на Крови,
твой силуэт отдалённый,
будто бы свет удивлённой любви,
вспыхнувшей, неуголённой.



Боль от этой нелепой трагической смерти, в которой косвенно был повинен он сам, сопровождала его всю жизнь. К ней примешивалась и неизбежная боль о сыне, который после смерти матери, остававшийся на попечении престарелой бабушки, по сути оказался предоставленным самому себе. Сдружившись с компанией юных наркоманов, он стал принимать наркотики, попал в тюрьму, отсидел срок. Окуджава пытался спасти Игоря от тюрьмы, но ничего не вышло. Всё это очень мучило его. Из этого душевного штопора он так и не выбрался, о чём можно судить по многим стихам.

А как первая любовь — она сердце жжёт.
А вторая любовь — она к первой льнёт.
А как третья любовь — ключ дрожит в замке,
ключ дрожит в замке, чемодан в руке.

А как первый обман — да на заре туман.
А второй обман — закачался пьян.
А как третий обман — он ночи черней,
он ночи черней, он войны страшней.

("Песенка о моей жизни")